

Книга первая

Глава I

Он жив еще? Так покажи мне, где он,
Я тысячи отдам, чтоб только глянуть.

Шекспир

Осенью 1816 года Джон Мельмот, студент дублинского Тринити-колледжа, поехал к умирающему дяде, средоточию всех его надежд на независимое положение в свете. Джон был сиротой, сыном младшего из братьев; скудных отцовских средств едва хватало, чтобы оплатить его пребывание в колледже. Дядя же был богат, холост и стар, и Джон с детства был приучен смотреть на него с тем противоречивым чувством — притягательным и вместе с тем отталкивающим, когда страх смешивается с желанием: так мы обычно смотрим на человека, который, по уверению наших нянек, слуг и родителей, держит в руках все нити нашей жизни и в любую минуту властен либо продлить их, либо порвать.

Джона вызвали в усадьбу, и ему пришлось незамедлительно отправиться в путь.

Красота местности, по которой он проезжал, — это было графство Уиклоу — не в силах была отвлечь его от тягостных мыслей: иные из них были связаны с его прошлым, большинство же относилось к будущему. Причуды дяди, угрюмый его нрав, странные слухи, ходившие по поводу его многолетней затворнической жизни, ощущение собственной зависимости от этого человека — все это стучалось в его мозг тяжелыми, назойливыми ударами. Для того чтобы отогнать их, он старался приободриться, выпрямлялся на своем

месте в почтовой карете, где он был единственным пассажиром, выглядывал в окно, смотрел на часы; ему казалось, что на какое-то мгновение он освобождается от всех этих неотвязных мыслей, но образовавшуюся вдруг пустоту нечем было заполнить, и тогда ему невольно приходилось снова приглашать их себе в спутники. Когда человек так настойчиво сам зазывает к себе врагов, то неудивительно, что они очень скоро одерживают над ним победу. И чем ближе он подъезжал к Лоджу — так именовалось поместье старого Мельмота, — тем тяжелее становилось у него на душе.

Воспоминания об этом страшном дяде начинались с самого раннего детства, когда мальчику то и дело приходилось выслушивать бесчисленные наставления: *ничем не докучать дядюшке*, не подходить слишком близко, не задавать никаких вопросов, ни при каких обстоятельствах не перекладывать с раз и навсегда отведенных для них мест табакерку, колокольчик и очки, не допускать, чтобы блеск золотого набалдашника дядюшкиной трости ввел его в смертный грех — взять ее в руки, и, наконец, быть до чрезвычайности осторожным и, совершая опасный переход — до середины комнаты и обратно, — не натолкнуться на груды книг, глобусы, кипы старых газет, болванки для париков, трубки и табакерки, не говоря уже о подводных камнях в виде мышеловок и нагромождений покрытых плесенью книг под креслами, и не забыть отвесить последний почтительный поклон, уже стоя в дверях, после чего осторожно и неслышно закрыть их и спуститься вниз по лестнице, едва касаясь ногами ступенек.

Вслед за тем ему вспоминались школьные годы, когда на Рождество и на Пасху за ним посылали лохматого пони, над которым потешалась вся школа, и он без всякой охоты ехал в Лодж, где ему целые дни приходилось просиживать наедине с дядюшкой, не говоря ни слова и не шевелясь до тех пор, пока фигуры их

не начинали походить на дона Раймонда и на призрак Беатрисы из «Монаха», а потом — смотреть, как тот вылавливает тощие бараньи кости из миски с жиденьким супом, остатки которого он протягивал племяннику с совершенно излишним уже предостережением «не есть больше, чем захочется». После этого Джона поспешно отправляли спать еще засветло, даже в зимнее время, чтобы понапрасну не жечь огарка свечи, и ему приходилось лежать без сна, терзаемому голодом, пока не било восемь часов и дядюшка не уходил к себе, чтобы лечь; это служило сигналом для управительницы, ведавшей незатейливым хозяйством старика, и та прокрадывалась к мальчику, чтобы поделиться с ним крохами своего жалкого обеда, причем после каждого куска шепотом предостерегала его, чтобы он как-нибудь не проговорился дяде об ее щедротах.

Потом потянулись воспоминания о жизни в колледже, в низенькой, расположенной в глубине двора каморке под самой крышей: жизни, которая ни разу даже не была скрашена приглашением приехать в усадьбу; тоскливые летние дни, когда он бродил по пустынным улицам, — ибо дяде совсем не хотелось тратить лишние деньги и брать его на лето домой. Старик напоминал о себе только приходившими раз в три месяца письмами, в которых наряду со скудным, но регулярно посылаемым вспомоществованием содержались жалобы на то, что обучение племянника обходится очень дорого, предостережения против всякого рода расточительности и сетования на то, что арендаторы не платят вовремя податей и что цены на землю падают. Все эти воспоминания нахлынули на него сейчас, а вслед за ними живо вспомнился и последний разговор с отцом, когда тот, умирая, наказал ему во всем полагаться на дядю.

«Джон, бедный мой мальчик, я оставляю тебя;
Господу угодно прибрать к себе твоего отца, пре- 5

жде чем он успел сделать все то, что облегчило бы теперь его последние часы. Джон, во всех делах тебе придется слушаться дяди. У него есть свои странности, и он человек больной, но ты должен привыкать мириться со всем этим, да и со многим другим, как тебе вскоре доведется увидеть. А теперь, бедный мой мальчик, да утешит тебя в твоём горе отец всех сирот и да пошлет он тебе расположение дяди».

Едва только Джон вспомнил свое прощание с отцом, как глаза его наполнились слезами. Он поспешил утереть их; в это время карета остановилась у ворот усадьбы.

Он вышел из нее с узелком в руке — там была смена белья, единственное, что он захватил с собой, — и, подойдя к воротам, увидел, что сторожка привратника окончательно развалилась. Из соседнего помещения выскочил босоногий мальчишка и отворил то, что некогда было воротами, а теперь — всего-навсего несколькими досками, державшимися на единственной петле и сбитыми так небрежно, что при сильном ветре они хлопали, точно вывеска. Эти неподатливые доски, уступившие наконец силе Джона и его босоногого помощника, тяжело проскрежетали по гравию и грязи, оставив после себя глубокую и топкую борозду. Путь был открыт. Джон стал шарить в кармане, ища какую-либо мелкую монету, чтобы вознаградить мальчишку за его труды, но, ничего не нащупав, пошел вперед, мальчишка же в это время прокладывал ему дорогу, прыгая то в одну, то в другую сторону, окунаясь в грязь, как утка, находя в этом удовольствие, и, вероятно, не менее гордый своим лихачеством, нежели тем, что «сослужил службу» джентльмену. Идя в молчании по грязной дороге, некогда бывшей въездом во двор, при тусклом свете осенних сумерек Джон заметил, до какой степени все переменялось с тех пор,

как он был здесь последний раз: на всем лежала печать крайнего запустения; с каждым шагом он

все больше убеждался, что это уже не просто скудость, как то было раньше, а беспросветная нищета. Никакой ограды или изгороди; вокруг тянулась стена, сложенная из ничем не скрепленных камней со множеством щелей, из которых торчали колючки и дрок. Ни деревца, ни кустика на газоне; да и самый газон превратился в пастбище, где овцы отыскивали себе жалкое пропитание среди камней, комьев глины и чертополоха и где только изредка пробивались пожелтевшие хилые травинки.

Господский дом резко выделялся даже на фоне вечернего сумрачного неба; по бокам не было ни флигелей, ни служб, ни кустарника, ни деревьев, которые давали бы тень и сколько-нибудь смягчали суровые очертания фасада. Печально посмотрев на заросшие травой ступеньки и заколоченные окна, Джон собрался с духом и решил постучать в дверь, однако молотка на месте не оказалось. Вокруг в изобилии были разбросаны камни; взяв один из них, Джон принялся изо всей силы колотить в дверь, пока в ответ не послышался неистовый лай сторожевого пса, который, казалось, вот-вот сорвется с цепи. Его дикие завывания, горящие глаза и оскал зубов, в которых угадывались и голод, и ярость, заставили Джона снять осаду двери и вместо этого избрать иную, хорошо знакомую ему дорогу, которая вела на кухню. В окне горел огонек. Джон нерешительно приотворил дверь, но стоило ему бросить взгляд на собравшуюся на кухне компанию, как он сразу же направился вперед уверенным шагом человека, который не сомневается, что его приветливо встретят.

В очаге ярким пламенем полыхал торф, и одно это говорило уже о том, что хозяин дома занемог, ибо он скорее бы сам бросился в огонь, чем допустил, чтобы туда кинули сразу целый киш; вокруг очага сидели старая управительница и несколько прихлебателей, людей, которые привыкли есть, пить и бездель-

ничать на каждой кухне в округе, приключись в доме какое горе или радость, и все ради «их милости» и в знак «уважения» к хозяину дома и его семье, и старуха, в которой Джон сразу узнал лекарку округи. Эта иссохшая Сивилла поддерживала свое жалкое существование, извлекая выгоду из суеверий, невежества и мучений существ, столь же жалких, как и она сама. Попадая к людям знатным, — а ей иногда удавалось проникнуть в их семьи через прислугу, — она применяла известные ей целебные травы и, будучи довольно искусна в своем ремесле, порою кого-нибудь и вылечивала. Когда же ей приходилось иметь дело с простолюдинами, она пускалась обычно в продолжительные разглагольствования касательно «дурного глаза», хвастая тем, что знает против него надежное средство; при этом она трясла своей седой головой, и развевающиеся волосы делали ее до такой степени похожей на ведьму, что ей всякий раз удавалось передать наполовину запуганным, наполовину поверившим ей людям некую долю воодушевленности, качества, которым она в значительной степени была наделена, притом что сама она, разумеется, понимала, что это обман; когда же положение больного становилось безнадежным, терпению доверчивых людей наступал предел и надежда уходила вместе с угасавшей жизнью, она заставляла своего несчастного пациента признаться, что «у него есть грех на душе», и, как только добивалась от него этого признания, — что стоило ей не очень большого труда, ибо чаще всего это был человек темный и бедный и притом изнемогавший от мук, — она принималась кивать головой и так таинственно что-то нашептывать, что у присутствующих не оставалось сомнения в том, что она действительно столкнулась с такими трудностями, одолеть которые смертному не под силу.

8 А когда больных не было и у нее не находилось предлога посещать ни господскую кухню,

ни лачугу бедняка, когда несокрушимое здоровье всех ее земляков угрожало ей голодом, в ее распоряжении оставалось еще одно средство: если нельзя было укоротить ничью жизнь, можно было предсказывать людям будущее, прибегая для этого к заклинаниям и всякого рода чудодейственным средствам, к тем, что находятся за пределами нашего разума. Никто не умел так, как она, сплести магическую нить и положить ее потом в яму, где гасят известь, на краю которой стоял тот, кто хотел узнать свое будущее, дрожа от страха и не зная, чей голос ответит ему на вопрос: «Кто это держит нить?» — любимой ли девушки или самого дьявола.

Никто не знал так, как она, место, где сливаются четыре потока и куда глубокою ночью надо было окунуть рубашку, а потом развесить ее перед огнем (во имя того, кого мы не осмеливаемся поминать в «благовоспитанном обществе»), дабы под утро из-под этой рубашки объявился суженый. Никто, кроме нее, — так она утверждала сама — не ведал, в какой руке надо держать гребень, пока другою подносишь яблоко ко рту, чтобы в это мгновение в зеркале, в которое глядится девушка, промелькнула призрачная тень жениха. Никто так искусно и так старательно не удалял все железные изделия из кухни, где жертвы ее колдовских чар, запуганные ею и легковерные, обычно исполняли весь этот ритуал, — дабы вместо привлекательного юноши с золотым перстнем на белом пальце возле кухонного стола не появилась фигура без головы, не схватила длинный вертел, а если бы такового не оказалось, лежавшую возле очага кочергу и не стала бы безжалостно измерять рост спящей, чтобы сколотить для нее гроб. Словом, никто лучше ее не умел истерзать и напугать свои жертвы, вселив в них веру в таинственную силу, которая может самых крепких людей превратить в самых хилых и слабых и не раз уже превращала. Ведь именно под действием

этой силы лорд Литтлтон, человек высокообразованный и скептически настроенный, перед смертью корчился, и стонал, и скрежетал зубами, совсем как та несчастная девчонка, которой померещилось, что к ней забрался вампир, которая кричала, что по ночам ее собственный дед высасывает из нее кровь, и в конце концов умерла, не вынеся ужасов, которые сама же себе внушила.

Вот какова была та, кому старый Мельмот поручил все заботы о себе наполовину из легковерия, но главным образом — из скупости. Джон оглядел собравшихся на кухне людей: кое-кого он узнал. Они по большей части были ему неприятны, и он понимал, что ни на кого из них нельзя положиться. Старая управительница встретила его сердечно: он и теперь, по ее словам, оставался для нее «белокурый мальчиком» (кстати сказать, волосы его были черны как смоль), и она попыталась поднять свою изрытую морщинами руку, то ли чтобы благословить его, то ли чтобы ласково погладить, что оказалось делом чрезвычайно трудным: она убедилась, что с тех пор, как она последний раз гладила его по голове, голова эта поднялась дюймов на четырнадцать.

Едва только Джон показался на пороге, как сидевшие на кухне мужчины с присущей ирландцам почтительностью по отношению к лицам высокого звания все как один поднялись с мест; табуретки их, раздвигаясь, загрохотали о разбитые плиты пола, и они приветствовали «их милость» пожеланием «здравствовать тысячу лет и еще долго потом» и спросили, не выпьют ли «их милость» малую толику, «чтобы тоску разогнать». При этих словах к нему сразу же протянулось пять или шесть красных и костлявых рук со стаканами виски. Тем временем иссохшая Сивилла сидела молча в пустынном углу возле очага и только из ее трубки потянулись еще более густые клубы дыма. Джон учтиво отказался от предложенного ему горячительного, очень сердечно вы-

слушал все излияния управительницы и недоверчиво посмотрел на старую каргу, занявшую весь угол у очага, после чего перевел взгляд на стол, где на этот раз стояла совсем иная еда, нежели та, какую он привык видеть, когда «их милость» распоряжался всем в доме. На деревянном блюде картофеля было навалено столько, сколько старый Мельмот ухитрился бы растянуть на целую неделю. Рядом красовалась соленая лососина, роскошь, в те времена недоступная даже для Лондона (см. повесть мисс Эджворт «Помещик в отъезде»).

Была там также свежая телятина, соседствовавшая с рубцами, и в довершение всего — еще омары и *жареный* палтус. Последнее может служить подтверждением того, что автор рассказывает *suo periculo** о своем деде, который был деканом в Киллале: когда старику приходилось нанимать в дом служанок, те ставили непременным условием, чтобы палтусом и омарами их кормили не чаще двух раз в неделю. Стояли там также бутылки уиклоуского эля, загодя и тайком извлеченные из погреба «их милости». Это было вообще их первое появление на кухне, и они бурно выражали свое нетерпение, пенясь и шипя от близости огня, который подстрекал их на бунт. Виски же — явно незаконный самогон, припахивающий сорными травами и дымом и отдающий духом презрения к акцизным чиновникам, — было, казалось, настоящим Амфитрионом этого пиршества; каждый расточал ему похвалы и с не меньшим восторгом его вкушал.

Когда Джон оглядел находившееся перед ним общество и подумал об умирающем дяде, ему невольно припомнилась сцена, следовавшая за кончиною Дон Кихота, когда, сколь ни была велика печаль, причиненная смертью достойного рыцаря, племянница его, как

* На свой страх и риск (*лат.*).

мы узнаем из романа, «съела, однако, все, что ей было подано, управительница выпила за упокой души умершего, и даже Санчо и тот усладил свое чрево». Ответив, как мог, на приветствия всей компании, Джон спросил, как себя чувствует дядя.

«Хуже некуда», «Куда лучше, благодарствуем вашей милости», — выпалили собутыльники столь стремительно и таким нестройным хором, что Джон только и делал, что поворачивался от одного к другому, не зная, кому и верить.

— Хворь-то у них, говорят, началась с перепугу, — прошептал парень футов шести ростом; шепот этот перешел потом в рев и прозвучал уже над головою Джона, дюймов на шесть повыше.

— Да к тому же их милость, сдается, простыли, — добавил один из мужчин, спокойно опрокидывая стакан виски, от которого отказался Джон. При этих словах Сивилла, сидевшая у очага, не спеша вынула изо рта трубку и повернулась к говорившим: будь то сама Пифия на треножнике, и то движения ее не могли бы вызвать вокруг такого суеверного страха и погрузить всех в столь глубокое молчание.

— Не тут, — сказала она, прижимая высохший палец к изрытому морщинами лбу, — не *тут* и не *там*. — И она простерла руку ко лбам тех, кто сидел ближе к ней и кто почтительно склонил перед ней голову, как будто принимая благословение, однако в ту же минуту снова принялась за спиртное, словно желая этим усилить действие своих слов.

— *Вот тут всё, у самого сердца*, — при этих словах она прижала пальцы к своей впалой груди с такой силой, которая всех потрясла, — все *вот тут*, — добавила она, повторяя те же движения (может быть, воодушевленная тем действием, которое успела произвести),

а потом снова поднесла ко рту трубку и, опустившись на табурет, больше уже не сказала ни слова.

В ту минуту, когда Джон не успел еще опомниться от невольно охватившего его суеверного ужаса, а все сидевшие, трепеща от страха, молчали, раздался какой-то странный звук. Все вскочили, как будто слышали выстрел из мушкета: это звонил старый Мельмот, только колокольчик его звучал на этот раз как-то очень уж странно.

Прислуги у старика было совсем мало, и она обычно не отходила от него ни на шаг; поэтому сейчас звон этот поразил всех, как будто старик созывал народ на собственные похороны.

— Раньше он всегда *стучал*, когда надо было меня позвать, — воскликнула управительница, выбегая из кухни, — он все говорил, что, «когда часто звонишь, перетирается шнур».

Звонок в полной мере возымел свое действие. Управительница кинулась в спальню старика, а вслед за нею еще несколько женщин (ирландских *praeficae**) из тех, что всегда готовы и облегчать последние минуты умирающего, и плакать по покойнику, — они всплескивали своими жесткими руками и утирали сухие глаза. Все эти ведьмы столпились вокруг кровати старика, и надо было слышать, как громко, с каким неистовым отчаянием они вопили: «О, горе нам, они отходят, их милость отходят, их милость отходят!» Можно было подумать, что жизни их неразрывно связаны с его жизнью, подобно тому, как то было в истории Синбада-морехода, когда женам надлежало быть погребенными заживо вместе с их умершими мужьями.

Четыре из них ломали руки и завывали вокруг постели, в то время как одна с ловкостью миссис Куикли принялась шупать ноги «их милости», а потом «еще вы-

* Плакальщиц (*лат.*).

ше и еще выше», и присутствующих оповестили, что он «холодный, как камень».

Старый Мельмот отдернул ноги так, что старуха не смогла удержать их, пронизательным взглядом (пронизательным, несмотря на приближавшийся уже предсмертный туман) сосчитал собравшихся у его постели, приподнялся на остром локте и, оттолкнув управительницу, пытавшуюся поправить его ночной колпак, который во время этой схватки съехал набок и придавал его мрачному, мертвеющему уже лицу грозный и вместе с тем нелепый вид, прорычал так, что все вокруг обомлели:

— Какого черта вас всех сюда принесло?

Услыхав слово «черт», все бросились было врассыпную, но тут же опомнились и стали шепотом совещаться между собою, то и дело крестясь и бормоча:

— Черта! Господи Иисусе, спаси нас, черт, — вот первое слово, что мы от него услышали.

— Да, — что есть мочи закричал больной, — и первый, кого я тут вижу, черт!

— Где? Где? — в ужасе вскричала управительница, припадая к умирающему и словно пытаясь уткнуться в складки одеяла, которое она меж тем немилосердно стаскивала с его дрыгавших голых ног.

— Там, там, — повторял он (стараясь в то же время не дать ей стащить с него одеяло), показывая на столпившихся вокруг испуганных женщин, ошеломленных тем, что их гонят вон, как нечистую силу — ту самую, которую они собирались изгонять.

— Господь с вами, ваша милость, — сказала управительница уже более мягким голосом, когда первый испуг миновал, — вы же всех их знаете, эту зовут так, а эту так, а эту вот так, не правда ли? — и, показывая на женщин,

она называла одно за другим их имена, перечис-

14 слением которых мы уже не станем докучать чи-

тателю. (Чтобы он мог оценить нашу заботу о нем, достаточно сказать, что последнюю, например, звали Котхлин О'Муллиген.)

— Врешь, шлюха проклятая, — завопил старый Мельмот, — имя им легион, потому что их много. Гони их вон из комнаты! Вон из дома!.. Уж коли они завоюют, так будут выть от души, умру ли я, буду ли навеки проклят. Только по мне-то они и слезы не проронят, — а вот по виски... уж они бы непременно украли его, доведись им только до него добраться, — тут старый Мельмот схватил лежавший у него под подушкой ключ и торжествующе потряс им перед носом у старой управительницы; впрочем, торжество его было напрасным: та давно уже нашла способ доставать из шкафа напитки без того, чтобы «их милость» об этом знал, — да по той снеди, которой ты их тешила.

— Тешила! О Господи Иисусе! — вскричала управительница.

— А чего ради это у тебя столько свечей горит, все четыре, да еще, верно, внизу одна. Креста на тебе нет! Срамница! Ведьма старая!

— Правду говоря, ваша милость, их целых шесть горит.

— Шесть! А какого черта ты жжешь шесть свечей? Ты, стало быть, решила, что в доме уже покойник? Так, что ли?

— Нет, что вы, ваша милость, нет еще! — хором ответили старые гримзы. — У Господа на все свой час, и ваша милость это знают, — продолжали они тоном, в котором звучало плохо скрываемое нетерпение. — Ах, лучше бы уж ваша милость о душе подумали.

— Вот первое человеческое слово, что я от тебя слышу, — сказал умирающий, — дай-ка мне молитвенник, там вон, под разувайкой; паутину-то смахни, сколько лет уже, как я его не раскрывал.